

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Кровь за кровь

Рассказ

* * *

В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице увидел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и наконец над оврагом ручья развалины замка. Все это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам все, что узнал, как следует ниже.

А. Бестужев * * *

Этому уж очень давно, стоял здесь замок по имени Эйзен, то есть железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дometнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны этот провал служил ему вместо рва, а с другой – тысячи бедных эстонцев целые воспожинки рыли копань кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили замок, что к нему ни с какой стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах, дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода; тридцать задвижек с замками запирали их, а уж сколько усачей сторожило там – и толковать нечего. На всяком зубце по железной тычинке, и даже в желобках решетки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттуда. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире?.. Правду сказать, тогдашний мир хуже нынешней войны бывал. Одной рукой в руку, а другой в щеку-да и пошла потеха. А там и прав тот, кому удалось. Однако и рыцари были не промахи Как строили чужими руками замки, так говорили: это для обороны от чужих, а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то добытом, владел этим замком барон Бруно фон Эйзен. Был он не из смиренных между своей братьи, даром что и те удальством слыли даже за морем. Бывало, как гаркнет: «На коней, на коней», то все его молодцы взмечутся, как угорелые, и беда тому, кто выедет последним! Коли подпоясал он свой палаш а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора весил, то уж не спрашивай: куда? знай скачи за ним следом, очертя голову. Латы он носил всегда вороненые, как осенняя ночь, и в них заклепан был от каблуков до самого гребня; глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, – и, сказывают, взгляд его был так свиреп и пронзителен, что убивал на kers ласточек, а коли заслышит проезжий его свист на дороге – так за версту сворачивай в сторону, будь хоть епископ, хоть брат магистру. Врагов тогда, бывало, не искать стать, выезжай только за ворота: соседов много, а причин задрать их в ссору еще более. Притом же Нарва в тридцати верстах, а за ней и русское поле... как не взманит оно сердце молодецкое добычей? ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою... так и кинется он к границам русским – ему не нужно ни мосту, ни броду. Прискакал к утесу – а река рвет и ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? «За мной, ребята!» – и бух в воду первый. Кто выплыл –

хорошо. Потонул – туда и дорога! Скажет только, бывало, отряхавшись: «Скотина!» – и помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться. Конь служил под ним заморский, мастью вороной – что твоя смоль. В скачке с него зайцев захлопывали. В погоне река – не река, забор – не забор, а в деле – словно сам черт под седлом: и ржет и пашет, зубами ест и подковами бьет. Зато барон любил и холил этого коня: счетным зерном из полы кормил, из своего кубка медом потчевал, и коли надо, случалось, коню сослужить службу трудную, так отскочит полдороги – да фляжку вина ему в глотку. Прочхнется тот, встрепенется и опять летит, инда искры с подков сыплют. Ну вот и заедет он далеко в Русь... врасплох... завидел деревню – подавай огня. Вспыхнуло – кидай туда все, что увезти нельзя. Кто противится – резать, кто кричит – того в пламя. Позабывшись, и даром, правду сказать, порубливали встречного и поперечного, ну да это чтоб не разучиться или поучиться, говорил он. Натешась, разгромив, навьючив коней добычею, насажав на седла красавиц и сосворив к стремени пленников, выходили они околицами восвояси... и тут-то уж по дележе начиналась гульба и пированье. Хоть в пятницу – праздник, и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море, и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку, да он огрызался себе, как волк, и цел и невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблизи к его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были – оно и статочное дело – барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господень гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны, между тем как удары палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона – разгульная жизнь и охота к добыче, как магнитом, тянула бродяг к нему в службу. Обокрал ли, прогневил какой слуга или оруженосец соседа рыцаря – сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее, зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды! Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся: каждый сорвиголова. В огонь и в воду готовы на голос Бруно... так и смотрят в глаза ему – лишь мигнул и все вверх дном полетело. В буянстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкою, и двенадцать киевских ведьм вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз набекрень, разгуливали они по хижинам эстонцев, поколачивали их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем Бог послал.

Теперь стали экономничать лифляндские помещики, запирают счетный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину, сами знаете, то ли было? Круглый год масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду, и без Helige Nacht (Рождество Христово) телята и бараны на четырех ногах ходили по столу и умильно подставляли охотникам свои котлеты. Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе, а травкой-муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что основательных напитков тогда не жалели, а как пили они – так вы, право, подумали бы, что у них муравленая утроба! Ведро пива на ухо – и ни в глазе. Вот подопьет, бывало, барон с соседями да и расходится индюком... я ли не я ль? По плечу себе никого не приберет, он-то всех храбрее, он-то всех благороднее! А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору да в брань, а там долго ли до железа! Кончится, бывало, тем, что гость придет верхом, а вынесут его на носилках; еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало: разгневался на соседа – на конь со своей дворней и псарней, и пошел топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси Боже повстречать его в такой черный час. Завидел эстонца и скачет к нему с поднятым тесачищем. Читай «Верую во Единого», бездельник! а тот и обомлеет на коленях, ведь по-немецки ни слова. «Эймойста!» («Не понимаю!») Читай, говорю!.. «Эймойста...» А, так ты упрям в своем язычестве, животное!.. Я же тебя окрещу! бац! – и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, а барон с хохотом скакал далее, проговоря «Absolvo le!», т. е. разрешаю тебя. Затем, что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасти душу. Таково

было чужим, – каково же своим-то было? Понравился конь у крестьянина: «Пергала! меняй свою лошадь на мою кривую собачку!» – «Батюшка барин, мое ли дело охотиться – а без коня куда я поеду!» – «На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью». Зальется бедняга горячими, да и пойдет в холодную избу – за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать не велят. Коротко сказать, Бруно в угнетенье не отставал от своих сотоварищей, за исключением только члена: «Не пожелай... осла ближнего твоего», затем, что полезных этих животных тогда в Эстляндии не водилось. Однако ж и на него находили часы, не скажу Божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди – весьма не утешно; как ни любил он шум и разбой – а все-таки скука садилась с ним в седло и на стул незваная; и как бес в рукомоинике – выглядывала с донышка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям. Вот уже стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду – черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с стопой своей и допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женись, барон, авось это порассеет тебя; притом же наследники... ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет... да кстати, чем далеко искать – лучше взять готовую невесту моего племянника; она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может, она меня не залюбит, да кто об этом беспокоится. Какое мне дело, любят ли меня рыбы или нет – да я люблю их есть. А племянник не велика птица в перьях... пускай порастет до свадьбы! Надобно вам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом... кажись, не умом, потому что поручил сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно справлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регинальда помыкал вовсе не по – родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали, как на ладони, все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был статный и красивый, ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай Бог памяти, – кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу, даром что не мылась биркезом и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины... Сердце сердцу весть подает... они слюбились. Партия была хоть куда... и Бруно не прочь – и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела... Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить.

Через три дни пути Регинальд с двумя трубачами стоял уже у подъемного моста у замка рыцаря Бока и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей В замке все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету. Матушка насурмила вместо бровей губы, и я за верное слышал, что сама Луиза, как ни хотела казаться равнодушною однако встретила гостя в разных чеботах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик – она испугала бы их менее... Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маюкону и что сравнение мое некстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха, матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде, Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори – а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жалуют больно другое... Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом-разумом. Шутить с Бруно плохо... Хотя-нехотя, ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось, да зачем, вправду, их баловать? какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю, отчего – только вино это показалось свату настояно перцем, матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. – Регинальд,

как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть. Через две недели была и свадьба. Гостей съехала тьма-тьмушая, ведь и тогда охотников попить на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни – так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить, хлеб, соль не купленные. Особенно у барона лавливались. в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесиках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавль, и побрякивал очень гордо – зато бедная Луиза, бледная, как фламское полотно была ни жива ни мертва и сказала (За так невнятно, так невольно, что оно девяносто шести нет стоило. Между тем кой-кто из гостей, особенно дамы, в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах, из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. «Муж не бобер, – сказала одна баронесса своей соседке, – проседей только меху цены придает». – «Морщины такие борозды, на которых всходят плохие растения», – прибавил какой-то забавник. «Поглядим, – рассуждали иные, – голубка ли выключет глаза этому старому ворону, или он оциплет ей перушки!» Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости попирали до бела утра. Морожевки, рябиновки, настойки из полыни, зари и прочих невинных трав лились, а заморских вин – пей не хочу. Утро застало пиравших или за столом, или под столом, и, к крайнему сожалению любителей прежних обычаев, пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбиво. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они – в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса в первый раз без отца, без матери сидела, прижавшись в уголке, как сироточка, и сердце щемило у ней, – а ведь это не к добру!.. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа – и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком, посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари, бывало, плачет бедняжка тихомолком, так что изголоветь хоть выжми – и не один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине... – Куды! упаси Боже! как затопает, да закричит: «Твоя родина – спальня. Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значат слезы, которыми ты, как блесками, унизываешь шитье свое? Почему, лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось на племянника моего ты очень умильно глазеешь! Черт меня возьми, тут что-то недаром... я уверен, что вы вспомнили прошлое. Но помни и то Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку с венгерским, чтобы не испортилась!»

Не нами выдуманно, что неправое подозренье вечно вводит в искушение. Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром – сем-ка я заслужу это – ведь терять-то уж нечего. Притом не утешно и отомстить за обиду» Вот так или почти так случилось с Луизой, так и с племянником барона. Им стало досадно сперва за напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. Притом же она не любила мужа, он не уважал-дядю – стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, оттого только, то вместе. Чуть только можно – он сидит при ней, говорит сладкие речи и глядит в глаза так нежно, что будь каменное сердце – расступится. То рассыпается мелким бесом в услугах, то веселит ее рассказами... а сам изныл, истаял от грусти, как свеча. Мудрено ли ж, что с каждым днем Регинальд становится Луизе милее; с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она виноватее. Надоело и барону нянчиться с женою. Бывало, ни свет, ни заря – отправляется он на грабеж, или в набег, или в отъездное поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами... Какое ж сравнение с Регинальдом! с добрым, с благородным Регинальдом! Впрочем, сохрани меня Боже заступаться за них: во всяком случае их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде – грех великий. Конечно, страсти дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей

Регинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному, чтобы не отослал его дядя прочь – принужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани перекопать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел. – Минул год. Случились у барона гости. После обеда все навеселе вышли пострелять из лука в зверинец. Правду истинну сказать, это важное имя дано было загородке из одного баронского хвастовства. Им бы лишь было имя, а как? – того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая потому только разве могла назваться дикою, что пастушьих собак дичилась; да лошадь, состоящую за старостию на подножном пансионе, в свободное время от водовозни, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы, – а что ни самый огромный подали барону. Он его любимый был... Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними подсмеивается. Дошла очередь и до Регинальда. Он уперся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву кверху – так только слышно динь, динь... все ахнули, и тетива на крючке: словно взводил он детскую игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которою он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более. – Это одна сноровка, – сказал он презрительно. – А вот, господин дамский угодник, если ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками – так будь молодец: попади в мельника, который работает на плотине ручья. – Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю, – отвечал с негодованием племянник. – Но я не палач, чтобы убивать своих! – Гм! своих! По низким твоим чувствам я, право, скоро поверю, что ты свой этим животным!.. Убить мельника. Ха, ха, ха, экая важность: не прикажешь ли потереть виски?.. тебе, кажется, дурно от этой мысли становится? Тебе бы не кровь – а все розовое масло! У тебя любимое знамя – женская косынка! – Барон Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости, – то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле – и к стыду моему не проливал ли невинную кровь русскую в набегах? – Не отставал... велика заслуга! Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут. Подай сюда самострел мой – да сиди за печкой с веретеном... погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердце подлых людей. Он с остервенением вырвал лук из рук Регинальда, приложился – несчастный мельник рухнул в воду. – Славно, славно попал! – закричали рыцари, хлопая в ладоши, но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости. – Я бы застрелил тебя, наглый хвастун, проклятый душегубец, – сказал он барону, – если б это предвидел, – но ты не избежишь казни! – Молчи, мальчишка... или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот... прочь, или я как последнего конюха высеку тебя путлицами. Регинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую держал он... если б его не схватили и не связали. – Киньте его в подвал! – зарычал Бруно, беснуясь... – Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам – до посадить его на пищу святого Антония!

Несчастливого потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него претерпела, но что случилось с ним? не ведал никто, и скоро все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковину.

Вот, судари мои, не через долгое после того время, будучи Бруно на охоте, получает весточку от своих головорезов, которые, словно таксы трюфелей, – так они искали добычу: что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золото для купли. Взманило это старого грешника. «Готовьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров, – закричал он. – Я сейчас буду». Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз ссорился с патером в Везенштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, отчего и спать ночью без свету не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит по подполью, а ему все кажется, что кто-то гремит латами... вскочит спросонья и вопит на тень свою: кто там, кто тут? У кого совесть накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо

искать утешенья не в молитве, а в гаданье. С этим намереньем пришпорил Бруно вороного и по заглохшей траве помчался в лес дремучий Густел лес.. вечер темнел... ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец очутился он перед избушкой, как говорится, на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. – Стук, стук! «Отопри-ка, бабушка!» Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадалщица. Кошачий взгляд, волоса всклокоченные и по пояс. На полосатом платье навешанные побрякушки, бляхи и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно было разобрать ее голос от скрыла двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, собирала змей на перекличку, знала всю подноготную, что с кем сбудется, а прошлое было у ней, как – в кармане. Рассерди – ка ее кто!.. так запоешь курицей, по-петушьему или набегаешься полосатой чушкой. – Кого занес ко мне буйный ветер? – сказала она, продирая глаза, задымленные лучиною. – Не ветер, а конь завез меня, – отвечал барон, влезая сгорбившись в хижину, каких и теперь для образчика осталось не менее прежнего. Солнечные лучи встречались в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копченые. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу складена была без смазки каменка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец вместо всех мебели в углу лежала рогожка, а у печки лопата: может быть, воздушный ее экипаж-в звании труболетной ведьмы. – Погадай мне старая карга, – закричал барон старухе. – Брысь! брысь! К нему в это время прыг на шею черная кошка, да и царап лапою за усы. Барон вздрогнул нехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затрещали искры, так что по руке у него мурашки забегали. – Знаю, о чем хочешь ты ворожить, – сказала с злобной усмешкою колдунья... – Ты получил весть о добыче, когда гнал по лисе, – теперь хочешь сам сыграть лисицу на море!.. ведаю, что было, угадаю, что будет... но в последний раз, в последний раз, Бруно!

Барона кинуло в пот и в холод, когда он услышал эти подробности... «В ней сам черт сидит», – подумал он. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго нашептывала, уставив на воду страшные свои очи, – вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла, и вещунья слово за слово, вся дрожа, будто не своим голосом, говорила: – Рыцарь Бруно, твой поход будет успешен – спеши, не медли... ты приложишь новые добычи, новые грехи к прежним... светел твой нагрудник... гладок он... – Я думаю, что гладок, – ворчал про себя Бруно, – на нем кованая муха не удержится. – Я вижу на нем кровь... – продолжала старуха. – Не бойся, он не промокнет. – Нет он проржавеет... – А на что ж у меня оруженосец? Пусть-ка он не вычистит моих лат, так я ему вылощу спину. Скажи-ка мне лучше, бабушка, ворочусь ли я домой? – Домой? да, ты возвратишься туда, откуда отправишься... и потом ляжешь спать под крестом, в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол?... это похороны, это свадьба... Слышишь ли поют «Со святыми упокой» и «Ликуй!» Мороз подрал по коже рыцаря... он робко оглянулся, прислушался – но ничего не слышал, кроме мяуканья черной кошки. – Вот тебе шиллинг, – сказал он, бросаясь вон, – но колдунья оттолкнула его рукою... – Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься Ступай: конь и судьба ждут тебя за порогом. Бруно поскакал, не оглядываясь. «Она рехнулась, – думал он... – впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духову дню – так и подавно в головах, будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Тфу пропасть! Мало ли у меня знакомых!»

Наутро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье.

Долго ли, коротко ли, далеко или близко воевал барон – не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к замку, в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот я и воротился удачно, – говорил Бруно своему оруженосцу. – Роберт, снеси же эти 10 шил-лингов старой колдунье и скажи, что в ее вздорном предвещанье было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру-поздорову весел, как именинник». Очень видно, однако ж, было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщин, у того поневоле забьется ретивое, подходя к порогу.. каких вестей, каких гостей там не найдешь!! Так и у барона защемило сердце недаром – не успел он пройти по берегу

десяти шагов – глядь...

Признаюсь, господа, что тут он увидел – так вскипятило бы кровь и у самого хладнокровного мужа... барон видит: жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Обуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим. «Как? тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть, – теперь перед ним в полном вооружении? Этот смиренный целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы при мужчинах... кровь и ад!.. нет это не сон, не дьявольское наваждение!» Затопал он ногами, заревел – и если б не бряканье лат его, то, верно бы, любовники кончили жизнь на этом поцелуе. Да нет. Регинальд успел вскочить и принял меч на свой меч: схватились рубиться-искры запрыгали... удар в голову – и оглушенный Бруно, как сноп, свалился на траву. – Теперь ты в моих руках, злодей, – говорил Регинальд, привязывая его к дереву... – пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я хочу напиться твоею, из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня имения и воли, помыкал родного, как служку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довел до того, что я сгубил свой покой и чистоту совести... Ты уничтожил злодейски все, что для души дорого на земле и лестно на небе... Ты бросил меня на голодную смерть... Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд Божий поединком мне воспрещен был с дядею. Но Бог велик – ты пал – ты погибнешь!

Надо было видеть тогда барона: ниже травы, тише воды сделался: откуда взялись слезы; откуда молитвам выучился!.. зачал небось причитать Лазаря. Оно, правду сказать, смерть не свой брат, особенно коли застанет врасплох черную душонку. – Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние! отдам все, что ты хочешь, сделаю все, что велишь, стану держать твое стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволение жениться на Луизе. Пресвятая Бригитта! Я отдам в Ревельский храм твой пол первой добычи, выстрою в твое имя монастырь с зимней и летней церковью! Пойду сам в монахи, надену власяницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленное. Луиза, у тебя доброе сердце, я испытал это, я виновен перед тобой... уговори, упроси, умоли Регинальда, пусть он даст мне пожить, хоть еще годок, хоть месяц, хоть час! – Ни пяти минут, – отвечал племянник, взводя лук... – Имя Бога, злодей, которого ты призывал всегда всуе, чтобы угнетать бедных или увертываться от сильных, теперь не спасет тебя.. Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит! Но в это время жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку... – Не убивай, – закричала она пронзительно, – он злодей, но он мой муж, но он твой кровный. – Ты не знаешь, чего просишь, Луиза, – отвечал на эти речи Регинальд ласково. – Коли он жив – то нам не жить: это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми? Он разорвал родство... какой же присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь быть меня на колесе, умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть живая на малом огне... то скажи слово, и он жив!

Такая картина ужаснула Луизу... Женский ум слаб – он видит только то, что перед глазами... она отвернулась, махнула рукой... лук взвыл... стрела угодила в сердце, тут и дух вон... только кровь его брызнула на жену и племянника.

Бруно погиб – и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? Регинальд был малый благородный, добрый – зачем же он ходил с дядею на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно, да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно. И в самосуде – одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни! Какая же в том заслуга? есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он избавил околотов от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... да и кровь родного – право, не шутка!

Скоро спроведали в замке, что Бруно убили, а кто? за что?.. Бог весть. Долго не верилось этому... наконец увидели – и радость пошла ходить по околице... Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о Святой. Вот стали поговаривать об убийце... хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, кто сплавил его на тот свет. Все подозренья, впрочем, упали на Роберта, оруженосца баронова, который вышел с ним из ладьи глаз на глаз – и потом исчез – ни слуху ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Регинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, потчевал всех очень усердно – то скоро все и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он – поставили каменный крест, и в замке до назначенья магистра остался хозяином Регинальд.

Коротка память у женского сердца, их слезы – роса: так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва Луиза то и знай что рыдала; потом стала она молиться. потом рассеивать себя, да разгуливать, под конец ласки и уверенья Регинальда, кстати и свои рассуждения усыпили совсем ее совесть. Глядишь, не прошло полугодя, она уже нарядилась в цветное платье, да и сама расцвела розаном. Погодя немного захлопотали о свадьбе – разрешенье от папы, благодаря золотые поминки, прислано: чего ж медлить? Назвали гостей. Гости съехались, пожимая плечами, но расправляя рты, – вот повезли жениха и невесту в церковь, что стояла невдалеке от Эйзена. «Славная парочка», – говорили гости; только славная парочка стояла под венцом, как обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили только, что Луиза все что-то с руки стирала, а жених озирался кругом при каждом скрипе оконниц, которые ходили ходенем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружных. У всех вытянулись лица... все смолкли, только голос одного патера раздавался и перевторивался под острыми сводами. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилося по полу – две свечи погасли, задутые ветром, – все вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память. Опять тихо, опять гудя смолкли органы... и вдруг почудилось, будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу, уж по крыльцу. «Отвори, отвори!» – загремело за дверью – и отдалось в куполе.. все обмерли; никто ни с места!.. взглянули вверх – там неслось только облачко с кадьльницы. «Отвори!» – повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами, – и вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петель и рухнули на пол... воин в вороненых латах, на вороном коне, в белой с крестом мантии, блистая огромным мечом, ринулся к налою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто... глаза неподвижны... и что ж? В нем все узнали покойника Бруно. Завопил народ от ужаса – и расхлынул; кто упал ниц, кто ударился в бега он в три скачка очутился подле новобрачных. «Кровь за кровь, убийцы!» – прогремел он – и вмиг растоптанный Регинальд захрипел под ногами коня – и, вмиг наклонившись, подхватил мертвец полумертвую Луизу, перекинул ее через луку, поворотил коня, взглянул на всех, как уголь, яркими очами и стрелой выскакал вон из церкви-лишь огонь струями брызгал из-под копыт по следу Только и видели. Страх всем запечатал уста... крестись, разбежались гости.

Я сказал, что это было октябрьскою ночью. Ветер выл волком в бору, море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя, и мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она. что лежит в лесу на мокрой траве.. Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство... Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника – ахнула и снова без памяти...

Опять очнулась несчастная... открыла очи – но уже ничего не могла видеть – она лежала ничком со связанными руками, она чувствовала, что ее засыпают холодной землею... у ней замерло дыхание... нет голосу крикнуть.. В отчаянии едва-едва могла прошептать она: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его»; и вот остановилась ужасная работа. Громкий адский смех раздался над нею. «Смерть за смерть, изменница!» – сказал кто-то, и кровь застыла. Еще стон, еще усилие, еще глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, схоронена живая.

Ужасно! И теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако Бог знает, что делает, кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине, почитай всегда, хуже Каиновой печати. Луиза казнена жестоко; зато этот пример долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает – из зла.

Наутро явился в замке черный латник-мститель. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине в свите какого-то немецкого князька и ворочался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица... и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемником всех угодьев и служеб покойного; однако его зверство не осталось без наказания. Через десять лет русские орвались в Эстонию, осадили замок и наконец спекли черного рыцаря Бруно. Сожженный дотла замок Эйзен срыли до основания, и борона прошла там, где были стены. Долго, долго после того и давно перед этим набожные люди собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу Бога. Это ее глава мелькает между деревьями. * * *

Господа, начал я за здравие, а свел за упокой, но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные.